



В. В. ПРОЗОРОВ

Народно-поэтические афоризмы в творчестве Салтыкова-Щедрина

1

Проблема отношения Салтыкова к фольклору при кажущейся на первый взгляд локальности обращена ко многим существенным граням мировоззрения, метода и стиля художника. Тема эта не новая в щедриноведении. Однако изучалась она преимущественно со стороны воздействия устной народно-поэтической традиции на творчество писателя. Не меньший интерес представляет тот процесс обновления, видоизменения, обогащения фольклорных форм, которому подвергает их сатирик.

Давно уже признана недостаточность одностороннего рассмотрения «фольклорного инвентаря», используемого в литературном произведении*. Стало очевидным, что «изучение народно-поэтических основ художественной литературы отнюдь не может ограничиваться установлением фольклорных источников, — не меньшее значение имеет и характер “освоения” этих источников»**. Назрела необходимость оценить постоянные обращения Салтыкова и других отечественных мастеров слова к фольклору с точки зрения тех «учительных» задач, которые ставила и решала русская литература, с точки зрения, пользуясь выражением Н. А. Добролюбова, «властительной роли», которую играла она в общественной жизни страны.

Сознавая страшную удаленность от народа, потенциально наиболее многочисленного и самого благодарного на свете читателя, наша литература в сближении с народно-поэтической стихией ви-

* Н. Андреев. Фольклор в поэзии Некрасова. «Литературная учеба», 1936, № 7, стр. 60.

** Ю. Соколов. Некрасов и народное творчество. «Литературный критик», 1938, № 2, стр. 59. См. также: Э. В. Померанцева. Александр Блок и фольклор. В кн.: Русский фольклор. Материалы и исследования, III. Изд. АН СССР, М.; Л., 1958, стр. 203 и др.

дела один из мощных факторов своей подлинной демократизации, популярности, массовости. У больших настоящих художников речь всегда идет не о популярности ценой идейно-эстетических послаблений и уступок, путем уснащения авторской речи «народными» сравнениями и «народными» словечками*. Истинно популярный писатель «предполагает в неразвитом читателе серьезное намерение работать головой и *помогает* ему делать эту серьезную и трудную работу, *ведет* его, помогая ему делать первые шаги и *уча* идти дальше самостоятельно»**.

«Я мужик», — говорил о себе Салтыков, и за этим признанием угадывалась гордость и бескомпромиссность писателя-демократа, сознание своей сопричастности многострадальной народной судьбе, близость духовная, нравственная, идейная. Во многом автобиографически звучит со страниц «Пошехонской старины» известное признание рассказчика о детских годах своих: «...не только всякого дворового я знал в лицо, но и всякого мужика. Я любил говорить, расспрашивать. Крепостное право, тяжелое и грубое в своих формах, сближало меня с подневольною массой»***.

Исследователи отмечали, что поначалу, в 1850-е годы, обращение Салтыкова к фольклору обуславливалось его кратковременным увлечением славянофильскими идеями. В эту пору интерес писателя к устному народному творчеству носил прежде всего «этнографический» характер. В «Губернских очерках» и примыкавших к ним циклах рассказов и повестей фольклорный материал был привлечен главным образом в целях «исследовательских», чтобы «придать фактическую, реалистическую убедительность <...> зарисовкам народных типов»****.

В 1850-е годы Салтыков чрезвычайно редко пишет о народе в критических тонах. Пристально изучая фольклорные источники, он останавливает свое внимание на разбойничье-удалых песнях, воспроизводя, к примеру, в «Развеселом житье» (из цикла «Невинные рассказы») их интонацию, ритм, лексическую окраску, сгущая и со-

* См.: В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 358.

** Там же.

*** Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. XVII, Гослитиздат, Л., 1934, стр. 155.

**** Е. И. Покусаев. Щедрин и устное народное творчество. «Ученые записки Саратовского университета», 1948, т. XX, выпуск филологический, стр. 139–140. Названная работа — самое обстоятельное исследование воздействия фольклора на литературную практику Салтыкова 1850-х — начала 1860-х годов.

циально заостряя их протестующий, бунтарский пафос. Обращаясь в «Губернских очерках» («Пахомовна», «Аринушка») к духовным стихам и религиозным поверьям, сатирик видит в них изуродованную веками притеснений, «исторически обусловленную форму отражения заветных народных мечтаний вырваться из тисков материальной нужды, социального гнета»*.

В 1860–1880-е годы обращение Салтыкова к фольклору диктуется в первую очередь целеустремленными сатирическими заданиями писателя. «Единственно плодотворная почва для сатиры есть почва народная»**, — так определит Салтыков идейно-творческую основу главного дела своей жизни.

О живущем в народе духе созидания, творчества писатель-сатирик размышляет часто, отвергая идеализацию патриархального уклада русской жизни и космополитическую близорукость ученых-педантов. Непримиримого и язвительного оппонента нашло в сатире чрезмерное увлечение некоторых русских историков литературы и фольклористов компаративистскими методами и, в частности, так называемой «теорией заимствования». В 1872 году в «Дневнике провинциала в Петербурге», а через год в очерке «По части женского вопроса» (из «Благонамеренных речей») Салтыков пародийно, с убийственной издевкой воспроизводит суждения тех, кто оспаривал «русское происхождение Микулы Селяниновича» (XI, 275) и столь же усердно, сколь и безрезультатно доискивался до иностранных истоков происхождения русского героического эпоса, русского народного творчества. Это и Иван Николаевич Неуважай-Корыто, автор «Исследования о Чурилке», доказывавший, что «Чуриль, а не Чурилка, был не кто иной, как швабский дворянин седьмого столетия» (X, 404), а Добрыня и Илья Муромец — «все это были не более как сподвижники датчанина Канута» (X, 405). Это и Петр Сергеич Болиголова, автор диссертации «Русская песня: Чижик! чижик! где ты был? — перед судом критики», настаивавший на том, что «даже “Чижика” мы не сами сочинили, а позаимствовали» и что «в мавританском подлиннике именно сказано: “на Гвадалквивире воду пил”» (X, 406).

Гнев Салтыкова распространялся не только, а вернее сказать, не столько на крайние модификации сравнительно-исторического

* Там же, стр. 141.

** М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в двадцати томах, т. IX, изд. «Художественная литература», М., 1970, стр. 246. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.

изучении фольклора, сколько на антинародное в широком смысле слова мировоззрение правящего сословия России, глубоко чуждого и враждебного национальным интересам и устремлениям. Сатирик создает собирательный образ «гулящих людей», ядовито именуя их не иначе, как «гороховыми шутами», «желудочно-половыми космополитами» (VII, 91), которые отправляются «ради бездельничества» в заграничные путешествия, «всякого иностранца» принимают за «высший организм» и бранят Россию пуще любого «заклятого врага» (VII, 87).

Этой «прожорливой и завистой» породе людей, духовно порвавших с родиной, но сохраняющих господствующие позиции в сословной иерархии страны, Салтыков безбоязненно противопоставляет крестьянскую, народную Русь: «Русский мужик <...> является самим собою, то есть простым, непринужденным, и <...> не придет ему в голову стыдиться того, что он русский. Почему? А все потому же, что он занят делом, что он чувствует себя не только не лишним, а совершенно необходимым деятелем в русской семье» (VII, 93).

На неотвязно мучительные вопросы вроде тех, что сформулированы были в 1868 году в «Письмах о провинции»: отчего русский мужик «родится как муха и как муха же мрет» или «отчего в деревнях царствует такое сплошное, поголовное невежество» (VII, 247) и т. п., Салтыков отвечал так (и ответ этот не раз припоминал В. И. Ленин)*: русский мужик «беден всеми видами бедности, какие только возможно себе представить, и — что всего хуже — беден сознанием этой бедности» (VII, 248). Таково выстраданное убеждение автора «Истории одного города» и «Сказок».

Известно, как больно задевало писателя несправедливое, ложное обвинение его в глумлении над народом. Салтыков, вопреки своему правилу ничего сверх написанного и напечатанного не комментировать, считает нужным отступить от традиции и разъяснить, что если сам народ «честит» себя головотяпами, моржеедами, гужеедами и т. д., то «тем более права имеет на это сатирик» (VIII, 457–458). По справедливому замечанию одного из исследователей, Салтыков не в последнюю очередь имеет здесь в виду «право художника использовать народную поэзию в сатирических целях»**. Основанием для такого «права» может стать, убежден писатель, особый подход

* См., например: В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 25.

** С. Ф. Баранов. Фольклорные мотивы в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. «Труды Иркутского университета». 1956, т. XII, серия историко-филологическая, стр. 109.

к понятию «народ», когда делается различие между «народом историческим, то есть действующим на поприще истории» и «выносящим на своих плечах Бородавкиных, Бурчеевых и т. п.», и «народом как воплостителем идеи демократизма», «представляющим собою идею демократизма». «Первому <...> — говорит Салтыков, — я действительно сочувствовать не могу. Второму я всегда сочувствовал, и все мои сочинения полны этим сочувствием <...> Этому народу нельзя не сочувствовать уже по тому одному, что в нем заключается начало и конец всякой индивидуальной деятельности» (VIII, 454, 458).

В народе угадывалась недюжинная потенциальная сила, которая должна была пробудиться к сознательной жизни, но, с другой стороны, многие «характеристические черты», «составляющие как бы необходимый продукт всей совокупности обстоятельств, среди которых мы живем и развиваемся», все заметнее приглушали оптимизм Салтыкова. И сатирик останавливает внимание на этих «характеристических чертах», он пишет не столько о «смирении», сколько о «беспечности», о том «всемогущем русском “авось”», которое составляет как бы необходимую принадлежность наших экономических отношений». Салтыков видит и далеко идущие социально-политические следствия этих отнюдь не исконных, но тем не менее необычайно распространенных и живучих свойств и примет национального характера, он говорит о «привычках народных, в основании которых лежит какая-то фаталистическая надежда на внешнюю помощь» (V, 19).

Да, есть и другая сторона «народного духа» — «дикий и необузданный разгул человека, почувствовавшего себя без узды» (V, 26–27). Не случайно, полагает Салтыков, «русская народная поэзия имеет в себе целый обширный отдел песен разбойнических» (V, 26). Но такое соединение «разгула» с пассивным отношением к собственной судьбе, с непризнанием «принципа сознательности» чревато поистине драматическими последствиями, одолеть которые можно только на пути просвещения народа. Ведь подлинная трагедия русского мужика, «подневольного русского человека», «самая страшная сторона неволи измеряется, — как скажет Салтыков в 1864 году, когда отмена крепостного права будет свершившимся фактом, — не числом ударов и не в том состоит, что она с маху бьет человека, а в том, что она всасывается в его кровь, налагает руку на его внутренний мир и незаметно заставляет его не только примириться с неволей, как с таким состоянием, против которого всякая борьба была бы материально напрасна, но даже относиться к нему, так сказать, художественно, все свои умственные и нравственные силы направ-

лять к его вящему утверждению и украшению» (V, 436). Именно это, самое тяжелое и горькое, последствие вековой кабалы, неволи, рабства (а крепостное право в России, по словам В. И. Ленина, «ничем не отличалось от рабства»)*, да еще принимавшего подчас зловещее обличье рабства «по убеждению», стало объектом постоянного пристального сатирического исследования Салтыкова. В этом отношении Салтыков продолжает революционно-демократическую традицию Чернышевского, всегда выступавшего «врагом стилизаторства под фольклор, врагом обожествления, фетишизации фольклора, пример чего он находит у славянофилов»**.

2

К фольклору, к его жанрам, темам, образам Салтыков обращается часто. На страницах щедринских сатир встречаются упоминания о многих народных удалых, лирических песнях, романсах. Писатель знал их в изобилии. Его герои распевают и исконно народные «Не шуми, мати зелена дубровушка!» (VIII, 275), камаринскую, «Как по морю по Хвалынскому» (XI, 148), «По улице мостовой» (XV, кн. 1, 12), и профессионально-литературные, ставшие народными «Вниз по матушке по Волге» (XV, кн. 1, 26), «Вот мчится тройка удалая» (XIII, 178; XV, кн. 1, 269). «Не шей ты мне, матушка» (XIII, 208), и многие другие песни. Заглавная строка народной песни в романсовой обработке А. Е. Варламова «Здравствуй, милая, хорошая моя!» выносится в название одного из очерков «помпадурского» цикла (VIII, 59). В повествовательную ткань щедринских произведений органично вписываются приметы народных поверий (XI, 404), детских крестьянских игр (XI, 63), загадки (VIII, 228), плачи (VIII, 332), раешные стихи, многочисленные сказочные, реже — былинные, элементы и т. д. Но, пожалуй, самым излюбленным для Салтыкова фольклорным жанром всегда оставались пословицы и поговорки.

Салтыковский список пословиц, заимствованных в 1850-е годы из публикации Ф. И. Буслаева и частично использованных в цикле «Невинные рассказы»***, может быть значительно расширен за счет

* В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 70.

** В. Базанов. Проблема эстетического отношения фольклора к действительности у Н. Г. Чернышевского // «Русская литература», 1958, № 1, стр. 120.

*** См.: Ю. Соколов. Из фольклорных материалов Щедрина // «Литературное наследство», т. 13–14, 1934, стр. 493–504.

тех, что встречаются в сатирических очерках, в публицистических статьях, в критических рецензиях, в письмах писателя, наконец. Их назначение у Салтыкова разнообразно.

В одних случаях речи персонажей сообщается соответствующий, чаще всего сословный, колорит, известная характерность. Мелкий торговец, например, сокрушается: «На десять копеек товару-с, на рубль хлопот-с!» (VII, 300). Бывший дворовый угрюмо роняет: «Что дела-с! наши дела как сажа бела!» (VII, 303). Обрекая своих родных на верную гибель, Порфирий Головлев поучает их нудной вереницей «афоризмов»: «бог непокорных наказывает», «умел кашу заварить — умей ее и расхлебывать», «поспешешь — людей насмешишь», «по нужде и закону перемена бывает», «любишь кататься — люби и саночки возить» и т. п. Пословицами, типично народными фразеологизмами пестрит речь русского «мальчика без штанов» из цикла «За рубежом»: «пристал как банный лист», «как чисто — плюнуть некуда», «ах, пострели те горой», «даже прыщик, и тот должен почесаться прежде, нежели вскочит», «отца на кобеля променял», «держи карман», «будет и на нашей улице праздник» и т. д. (XIV, 33–42). Помещица Копейщикова из «Деревенского пожара», жертвуя крестьянам-погорельцам крошечную сумму, назидательно приговаривает: «...свет не без добрых людей» (XVI, кн. 1, 187).

Чаще всего пословицы и поговорки интересуют Салтыкова в их социально-сатирической функции. Постоянное обращение именно в сатирических, нравственно-дидактических, просветительских целях к пословице, поговорке, к народной фразеологии, к некоторым традиционным фольклорным элементам не только не является для Салтыкова чем-то случайным, но наводит на мысль о непосредственной близости писателя-сатирика к самой природе устного народного творчества.

Исследователи, устанавливающие связь Салтыкова с фольклором, обычно и не без оснований идут по пути сближений, сравнений, сопоставлений щедринских образов и образных средств с теми, что выкристаллизовывались в устной поэзии народа. Но, вероятно, вопрос этот должен быть поставлен и шире. Речь идет об известном родстве самих способов отражения жизни, способов типизации во многих фольклорных жанрах и в щедринской сатире. Ведь известно, что устной народной поэзии свойственна социально емкая, широкая нарицательность, зачастую предельная обобщенность образов, а «не всестороннее изображение человеческой индивидуальности или выявление каких-то неповторимых, оригинальных черт ин-

дивидуального характера»*. Ведущие принципы художественного мышления в фольклоре предполагают преимущественное сосредоточение на приметах социально-нравственной психологии, исключая во многих жанрах элемент случайного и даже индивидуального. Таковы все пословицы и поговорки, обобщающие вековой опыт поколений, «народную логику и психологию, педагогику и правила общежития, народный кодекс понятий о государстве и обществе, о законах трудовой жизни и классовой борьбы»**.

Одна из определяющих особенностей щедринского художественного метода заключена в сознательном подчинении индивидуально-личного начала социально-психологическому. «По количеству тщательно психологически разработанных человеческих характеров Щедрин уступает Гоголю, Тургеневу, Достоевскому, Толстому. Но уступает не по недостатку соответствующего дарования, а в силу тех задач, которые он брал на себя как сатирик. Что же касается мастерства выявления классовой психологии, психологии целых социально-политических группировок своего времени, то тут Щедрин не имеет себе равного»***. Салтыков настойчиво стремится к решению «вопросов общественных» (IX, 440), его писательское внимание сосредоточено прежде всего на «силе вещей и разнообразнейших отношениях к ней человеческой личности», его занимают «целые массы Иванов и Петров» (IX, 276).

Подобная внутренняя творческая близость и определила интерес Салтыкова к сатирической трансформации обширного запаса пословиц и поговорок. Биографы писателя заметили уже, что «отсутствие в детском быту Салтыкова народных сказок и песен сказалось в том, что фольклор Щедрин лучше всего знал в его пословичном фонде. В речевом обиходе матери сатирика и всей окружавшей его детство среды крепостных и дворовых пословица и поговорка играли большую роль. С ранних лет Салтыков должен был, таким образом, усваивать и сатирическую направленность и афористичность мышления, присущие этому виду народного творчества»****.

В пословицах, считал Салтыков, запечатлена философия и мораль народной массы, трудящегося человека, тянущего выпавшее на его

* В. Гусев. Проблема эстетики и фольклор. «Русская литература», 1958, № 4, стр. 43.

** М. А. Рыбникова. Русские пословицы и поговорки. Изд. АН СССР, М., 1961, стр. 11–12.

*** А. С. Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина. Изд. АН СССР, М.; Л., 1959, стр. 385–386.

**** С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, 1. Изд. 2-е, доп., Гослитиздат, М., 1951, стр. 93.

долю «жизненное тягло». В пословицах отразилось и презрение к угнетателям, помещикам и духовенству («поповское брюхо, что бёрдо, все мнет» — XVI, кн. 2, 57), и порицание глупости, самонадеянности, чванства, пустозвонства («наделала синица шума, а моря не зажгла» — VIII, 445), и горечь от сознания собственного бессилия («правда не ворона — за хвост ее не ухватишь» — XVI, кн. 1, 218; «Коняге — солома, а Пустоплясу — овес» — XVI, кн. 1, 174)* и т. д. Однако у Салтыкова встречается сравнительно немного дословно воспроизведенных или поэтически перелицованных пословиц и поговорок, проникнутых духом народного гнева, возмущения барским произволом. Изобилие подобного рода пословиц и шире — фольклорных образов — отмечают обычно у Некрасова**.

По самой природе своей пословицы «не спорят, не доказывают — они просто утверждают или отрицают что-либо в уверенности, что все ими сказанное — твердая истина»***. Салтыков же как бы разрушает пословичный категоризм, некую усредненную всеобщность. Его ближайшим образом интересуется их социально-классовая определенность, их истинное общественное звучание в конкретных исторических ситуациях.

То, чему Некрасов посылал свои проклятия («Будь оп проклят, растлевающий // Пошлый опыт — ум глупцов!»****), становится постоянным объектом пристальных сатирических обличений Салтыкова. Писатель-сатирик настаивал на сознательном, социально-политическом подходе к «истинам», давно открытым, ставшим банальными, мнимо универсальными, требовал ответа на один обязательный вопрос: кому в сложившихся обстоятельствах выгодно то или иное «общее место». Вот как в таких случаях рассуждал писатель: «Конечно, ученье — свет, а неученье — тьма, но история человеческих обществ была свидетельницею учений столь разнообразных и достигавших столь различных целей, что любопытство относительно действительного значения, которое скрывается в этом слове, делается не только позволительным, но и необходимым» (IX, 289). Салтыков обосновывал свой особо действенный способ борьбы с отрицательными сторонами

* Ср. у В. И. Даля: «Рабочий конь на соломе, а пустопляс на овсе» (В. Даль. Пословицы русского народа. М., 1862, стр. 39).

** См. в кн.: Корней Чуковский. Мастерство Некрасова. Изд. 4-е, Гослитиздат, М., 1962, стр. 447–468.

*** См. вступительную статью В. П. Аникина в кн.: Словарь русских пословиц и поговорок. М., 1967, стр. 3.

**** Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. II, Гослитиздат, М., 1948, стр. 57.

массовой психологии — сатирическую реализацию образно-метафорического содержания пословицы, а значит, и развенчание заключенной в ней житейской «премудрости».

Пословица чаще всего трансформировалась Салтыковым иронически, грустно-комически. Комизм уже в известном противоречии между тем, как обычно применяется «афоризм» и как неожиданно полно и остро растолковывает его сатирик. Салтыков путем нарочито буквального прочтения известной поговорки или фразеологизма, употребляемых лишь в переносном смысле, до предела использует их метафорические, «фигуральные» готовности, их образную семантику (см., например: IX, 31–32; XIV, 262 и др.). Определив «нравственные и умственные» качества одного из помпадуров поговоркой «не лыком шит»*, щедринский рассказчик считает нужным оговориться: «...так как вопрос о том, насколько полезны щегольской работы помпадуры, еще не решен, то мы довольствовались и тем, что у нас хоть плохонький, но зато дешевенький» (VIII, 142).

Развитие образного строя пословиц и поговорок помогает сатирику не только бороться с отсталыми представлениями в психологии масс, но и разоблачать разные породы «хищников», беззащитно открытых или ловко маскирующихся угнетателей и грабителей народа. «Э! не боги горшки обжигали!» — восклицает щедринский «ташкентец», представитель молодой пореформенной бюрократии, вступая на стезю административной деятельности. И автор продолжает: «Решено; он начинает обжигать горшки, и вскоре убеждается, что нимало не ошибся, сочтя себя способным и достойным <...> Никто не спрашивает его, что он знает, что он умеет делать: так натуральным кажется всем и каждому, что для обжигания горшков совсем не требуются божественные качества. Каково зодчество, таковы и зодчие — это бесспорно» (X, 37–38).

Протестуя против использования «знаменитых» изречений для маскировки рабьей морали, двоедушия и лганья, Салтыков настолько проникается спецификой народно-афористического мышления, что нередко сам создает пословичные обороты по образу и подобию исконно фольклорных**. В речи рассказчика

* У В. И. Даля: «Хотя лыком шит, да начальник» (В. Даль. Пословицы русского народа, стр. 251).

** Любопытные на этот счет примеры приведены А. И. Ефимовым, которого народные пословицы интересовали как речевые средства щедринской сатиры. См.: А. И. Ефимов. Язык сатиры Салтыкова-Щедрина. Изд. МГУ, 1953, стр. 238–251.

и сатирических персонажей нет-нет да и появляется оборот, который по своей «интонационной организации» «копирует наиболее популярный конструктивный тип народных изречений»*. Пословичный склад речи характеризует, например, обитателей города Глупова. «Горшков много, а варева нет», — рассуждают глуповцы-«горшечники» (VIII, 310); «Сколько <...> на свете годов живешь, сколько начальников видел, а все жив состоишь!» (VIII, 313); «Лучше бы <...> с правдой дома сидеть, чем беду на себя накликать!» (VIII, 314) и т. п.

Особая разновидность щедринских пословично-поговорочных новообразований — оригинальный пародийный прием русификации и одновременно сатирического переосмысления известных иноязычных афоризмов. Например, многократно перефразируется изречение Цезаря «veni, vidi, vici»: «сожгли, разрушили, разорили» (VII, 311); «налетел, нагрязнул, ушиб» (X, 15); «ухватил, смял, поволок» (X, 38); «придет, насорит и уйдет» (X, 267); «подкупил, надул, опоил» (XI, 125) и др. Церковнославянское изречение «кесарево кесарю, а Божие Богу» пародируется в «Пестрых письмах»: «один — кесарю, другой — себе» (XVI, кн. 1, 357), в сказках: «волку — волчье, льву — львиное, зайцу — заячье» (XVI, кн. 1, 155). Щедринские модификации сообщают традиционным оборотам речи остро социальный подтекст.

Просветительским целям Салтыкова способствовал и самый, пожалуй, устойчивый прием обращения к одним и тем же иронически перетолкованным фольклорным выражениям. Речь идет о таких пословицах, поговорках, об их составных частях, которые сами по себе превращались под пером Салтыкова в постоянные сатирические формулы, знаки определенной жизненной ситуации, принципа, идеи, политической платформы и т. д. Многократно повторявшиеся из очерка в очерк на протяжении десятилетий пословичные элементы зачастую становились испытанными средствами эзоповского иносказания. Среди «излюбленных» щедринских оборотов, восходящих к народным пословицам и поговоркам, неразлучные с его сатирой «упечь туда, куда Макар телят не гоняет», «согнуть в бараний рог», «по Сеньке шапка», «ежовые рукавицы», «на бобах разводиться», «где раки зимуют», «хоть кол на головах теши» и др.

Это, как правило, усеченные пословичные конструкции либо отделившиеся от пословиц, но не теряющие своей с ними гене-

* Там же, стр. 249.

тической близости пословичные образы. В сатирическом мире Салтыкова они органично прижились, представляясь то в «свернутом», то в преобразованном, в зависимости от контекста, «распространенном» виде.

В систему эзопова языка Салтыкова наряду с другими включена поговорка «уши выше лба не растут», дающая представление об обывательском идеале «умеренности и аккуратности». Поговорка одновременно разоблачает и человека массы, укрывающегося за эту «пошлую мудрость», и «столпов» жизни, сбывающих ее народу в своих корыстных интересах.

Напомнив поговорку, внушаемую русскому человеку «с детства», щедринский рассказчик в «Похвале легкомыслию» заявляет: «С тех пор я не только не пытаюсь, но просто-напросто ничего не понимаю и только наблюдаю, чтоб уши мои как-нибудь не выросли сверх пропорций» (VII, 417). В другом случае Салтыков, приводя «основательную русскую поговорку, которая удостоверяет, что выше лба уши не растут», метит в цензурное ведомство, самим существованием своим напоминающее литературе о положенных ей пределах (IX, 277). Щедринские пустоплясы так разглагольствуют о Коняге: «Понял он, что уши выше лба не растут, что плетью обуха не перешибешь...» (XVI, кн. 1, 174–175). Сатирической апофеозой «благонамеренной и освященной вековым опытом» поговорки становится сказка «Вяленая вобла», в которой Салтыков взялся разрушить авторитет «скромных афоризмов» (XVI, кн. 1, 66). Сказочная щедринская воблушка «не рвется, не мечется, не протестует, не клянет, а резонно об резонных делах калякает. О том, что тише едешь, дальше будешь, что маленькая рыбка лучше, чем большой таракан, что поспешишь — людей насмешишь и т. п. А всего более о том, что уши выше лба не растут» (XVI, кн. 1, 64–65).

В последнем примере мы встречаемся с распространенным щедринским приемом представления целой «синонимичной» пословично-поговорочной группы, «заколдованного круга патентованных русских пословиц» (XVI, кн. 1, 234). Сатирические герои Салтыкова словно бы обитают в мире обывательских пословиц, как капканы расставленных на каждом шагу, чтобы улавливать, а затем приглушать и тушить любое проявление истинно человеческого, истинно гражданского чувства. Люди, считает сатирик, опутаны сетью пошлых старозаветных поучений, уныло-правильных житейских прописей, копеечных мудростей и т. д. Пословицы бесцеремонно вторгаются в их жизнь, напоминая о своей испытанной непогрешимости и безусловной неопровержимости.

Эстетическая целесообразность диктовала Салтыкову такое воспроизведение избранных им в сатирических целях народных поговорок и пословиц, которое бы и тени сомнения не оставляло относительно их банальности и непрочности. Вот почему так часто появляются в щедринском повествовании «целые свиты азбучных афоризмов» (XI, 17). Сатирик как бы демонстрирует своему читателю эту опутывающую его сеть предрассудков и заблуждений, эти улавливающие его душу афористические капканы: «Прежние пресловутые поговорки вроде: “с сильным не борись”, “куда Макар телят не гонял”, “куда ворон костей не заносил”, несмотря на их ясность и знаменательность, представляют лишь слабые образчики той чудовищной терминологии, которую выработало современное хищничество» (VII, 135).

Ограниченное самодовольство настойчиво проповедует, что «по рогожке следует протягивать ножки», что «всякий сверчок должен знать свой шесток», что «поспешишь — людей насмешишь». «...Вот счастливы, — восклицает автор, — разрешившие себе задачу душевного равновесия! Бегите от этих людей...» (VII, 153). В «Письмах к тетеньке» представлена бесконечная цепь реакционных правительственных начинаний: «Сегодня Дыба покажет, где раки зимуют, завтра — куда Макар телят не гонял, послезавтра — куда ворон костей не заносил, а в заключение объяснит, как Кузькину мать зовут! Вот сколько наук!» (XIV, 254). Сатирически переосмысленные и преобразованные пословицы и поговорки служили у Салтыкова плодотворным средством просвещения масс, воспитания новых поколений умных и честных читателей-друзей, освобождавшихся от рабьей морали «простецов», «глуповцев», «пошехонцев», от их «клейменого словаря», от их обывательских повадок и «азбучных афоризмов».

3

В 1870–1880-е годы количественный и качественный состав читающей публики на Руси сильно меняется, все отчетливее заявляет о себе читатель из крестьянской, из рабочей, пролетарской среды. Салтыков настойчиво связывает свои надежды с этим массовым, демократическим читателем. Еще в 1860-е годы «Историей одного города» и первыми сказками («Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть», «Дикий помещик») писатель-сатирик «рассчитывал непосредственно воздействовать

на народную массу, стремясь разбудить дремлющую народную силу к активной борьбе»*.

Щедринские сказки, по единодушному мнению читателей и исследователей, явились своеобразным итогом, синтезом идейно-творческих исканий сатирика. О связи их с устной народно-поэтической традицией существует немало работ. Отмечаются, в частности, все или почти все случаи употребления Салтыковым фольклорных элементов (см.: XVI, кн. 1): традиционных зачинов («Жили да были» — стр. 7; «В некотором царстве, в некотором государстве» — стр. 23; «Жил-был газетчик, и жил-был читатель» — стр. 60), числительных с нечисловым значением («тридевятое царство» — стр. 37; «из-за тридевясть земель» — стр. 124), типичных присказок («ни в сказке сказать, ни пером описать» — стр. 13, 63; «по щучьему велению» — стр. 26; «скоро сказка сказывается» — стр. 37; «долго ли, коротко ли» — стр. 42), постоянных эпитетов и обычных фольклорных инверсий («сыта медовая», «пшено ярое» — стр. 174; «храпы перекастистые», «звери лютые» — стр. 193), заимствованных из фольклора собственных имен (Милитриса Кирбитьевна, Иванушка-дурачок, царь Горох), свойственных народной поэзии синонимических сочетаний («ехала-ехала», «хвасталась-хвасталась» — стр. 193; «путем-дорогого» — стр. 188; «судили, рядили» — стр. 46), восходящих к фольклору идиоматических выражений («на бобах разводиться» — стр. 13, 65; «ухом не ведешь» — стр. 11; «бабушка надвое сказала» — стр. 85), устно-поэтической лексики, многочисленных пословиц и поговорок и т. д.**.

Устойчивые фольклорно-сказочные образы и детали сатирически осовремениваются Салтыковым не только в жанре сказки. Обличая произвол самодержавно-бюрократической власти, автор «Писем о провинции» прибегает к известной присказке: «...если во главе дела является человек, у которого нет ничего, кроме энергии, то ему остается только говорить: “Поди туда, неведомо куда; подай то, неведомо что”» (VII, 314; ср.: XIII, 463). Не раз в сатирико-пу-

* А. С. Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина, стр. 92. Иными способами, но родственные цели преследовал в 1860-е годы и Некрасов, используя фольклорные приемы и стремясь «воздействовать на крестьянское сознание, будить и прояснять его, создавать новые произведения, которые могли бы войти в песенный обиход и таким образом сделаться средством пропаганды революционных идей» (Н. Андреев. Фольклор в поэзии Некрасова, стр. 77).

** См.: Н. А. Метлина. Фольклорные элементы щедринских сказок // «Ученые записки Куйбышевского педагогического и учительского института», 1938, вып. 2, факультет языка и литературы, стр. 185–192.

блицистических контекстах щедринских очерков мелькают имена сказочных героев: Иванушки, Иванушки-Дурачка и Ивана-Царевича, Бабы-яги — Костяной ноги. Имя одного из глуповских градоначальников Василиска Бородавкина означает сказочного «змия, взором убивающего»*. Многочисленные сказочные элементы встречаются в «Истории одного города», особенно в описании «происхождения глуповцев» (ср., например: «Думали-думали и пошли искать глупого князя. Шли они по ровному месту три года и три дня, и все никуда прийти не могли» — VIII, 272). В сатирах Салтыкова упоминаются «теплые моря и кисельные берега» (VIII, 415). О современном Митрофане говорится, что «хмельной от приливов талантливости, он рыскал по долам и горам» (X, 16). «Ташкентец» Порфиша Велентьев видит «сказочную легенду», в которой лягушка превращается в «древнюю сморщенную старуху», знающую тайну «несметного клада», зарытого разбойником Кудеяром (X, 260–261), и т. д.

Известно, что у Салтыкова раз уже найденные образы, детали, зарисовки часто не исчезали бесследно, но в соответствии с историческими метаморфозами использовались и развивались в других циклах. Порой из отдельной, как бы между прочим оброненной фразы, из яркой лаконичной характеристики выростала впоследствии целая образная система. В литературе о Салтыкове систематизировано немало примеров подобной эволюции образов, в том числе и фольклорных, послуживших одним из первоимпульсов в создании сказок**.

В очерке «Кандидат в столпы» (1874) из цикла «Благонамеренные речи», рисуя превращение вчерашнего зажиточного крестьянина в «чумазога», в буржуа новейшей формации, автор ужасается: «Какая, однако ж, загадочная, запутанная среда! Какие жестокие, неумолимые нравы! До какой поразительной простоты форм доведен здесь закон борьбы за существование!» А фантазия сатирика подсказывает такие ситуации, из которых «произрастут» позднее его сказки: «Горе “дуракам”! Горе простецам, кои “с суконным рылом” суются в калашный ряд чай пить! Горе “карасям”, дремлющим в неведении, что провиденциальное их назначение заключается в том, чтоб служить кормом для щук, наполняющих омут жизненных основ!» (XI, 122). Каждой из помянутых здесь драматических жиз-

* Лексикон Памвы Берынды. В кн.: И. П. Сахаров. Сказания русского народа, т. II, кн. 5. СПб., 1849, стр. 23.

** См.: А. Бушмин. Сказки Салтыкова-Щедрина. Гослитиздат, М.; Л., 1960. стр. 6–73.

ненных сцен писатель находит параллель в виде «благонамеренных» сентенций, «изречений, в которых, как в неприступной крепости, заключалась наша столповая, безапелляционная мудрость» (XI, 122). Эти «сентенции» тут же приводятся. «Я знал и то, — рассуждает рассказчик, — что “дураков учить надо”, и то, что “с суконным рылом” в калашный ряд соваться не следует, и то, что “на то в море щука, чтобы карась не дремал”» (XI, 122; см. также: XI, 125).

В 1880-е годы эти «мудрости» трансформируются под пером сатирика в сказки. Тема «дурака» развивается в одноименной сказке 1885 года, прекраснотушный карась и щука, прожорливая от природы, а не по злой своей воле, воскресают в 1884 году в «Карасе-идеалисте» и т. д. Так щедринские социально-политические и нравственно-философские одновременно сказки выросли из распространенных и требовавших непременно уточнения и прояснения пословичных сентенций; в них нередко участвовали традиционные сказочные герои, особенно из народных сказок о животных; в них много различных фольклорных элементов, распространен и характерный в первую очередь для волшебной сказки композиционный прием трехчленной градации и т. п.

Вместе с тем сказки Салтыкова заметно отличаются от народных, и поиски параллелей, а тем более прямых сюжетных заимствований всякий раз оказывались несостоятельными. Вот почему одни исследователи полагали, что «фольклор занимает значительное место среди элементов, образующих стиль щедринской сатиры»*, что сказки Салтыкова — это произведения, «глубоко уходящие своими корнями в фольклорную почву»**, другие же склонны были утверждать, что «сказки Щедрина... мало похожи на обычные народные сказки»***, и т. д. Эти, на первый взгляд, разноречивые мнения не являются взаимоисключающими. Действительно, Салтыков-«сказочник» использовал различные жанры народного творчества: сказки о животных, волшебные, сатирические, народный кукольный театр, лубочную картинку, пословицы и поговорки****. Очевидно, что сказочный мир писателя не растворяется в народно-поэтической стихии, что «ще-

* Н. А. Метлина. Фольклорные элементы щедринских сказок, стр. 185.

** С. Ф. Елеонский. Литература и народное творчество. М., 1956. стр. 232.

*** И. В. Вострышев. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина. «Литература в школе», 1938, № 2, стр. 54.

**** См.: Я. Лебедев. Щедрин — автор сказок. «Труды Московского государственного института истории, философии и литературы», 1939, т. IV. стр. 135–158; С. Ф. Баранов. Фольклорные мотивы и сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина, стр. 108–120.

дринская сказка самостоятельно рождалась по типу фольклорных сказок, а последние способствовали ее формированию»*.

«В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил и на свет глядячи радовался» — зачин, настраивающий на привычный сказочный лад, сразу же последующими строками снимается, и неопределенно-прошедшее фольклорное время переключается в щедринское настоящее: «И был тот помещик глупый, читал газету “Весть” и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое» (XVI, кн. 1, 23). Помещичья тупость, выливающаяся в чтение махрово-крепостнической газеты «Весть», и помещичья дебелость — это одновременно и фарсово-комическое сближение в фольклорном духе, и социально-сатирическая характеристика. Дальше в комическом же ключе преподносится история совершенно реальных отношений помещиков и крестьян после отмены крепостного права. Последующие превращения, гротескные образы, саркастически выписанные ситуации также неразлучны с элементами фольклора, с постоянными эпитетами («тело белое», «пряник печатный», «звери дикие»), троекратиями (три человека дураком помещика «чествуют»), при-сказками («и начал он жить да поживать», «по щучьему велению») и т. д. И за всем этим проступает главный, уже не сказочный «намек»: мужиком живет Россия, трудом его и заботами, подневольный мужичий труд сохраняет помещичью дебелость.

Не случайно в сказке «Коняга» обычно иронически обыгрываемое в щедринских сатирах эпическое «богатырское» начало обретает высокое, трагическое звучание, достигает поистине былинных масштабов: «Из века в век цепенеет грозная, неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? кто вызовет ее на свет?»; «Нет конца полю, не уйдешь от него никуда!.. ему конца-краю нет... властно раскинулось вглубь и вширь»; Коняга «не считает ни дней, ни лет, ни веков, а знает только вечность» (XVI, кн. 1, 172, 174) и т. д.**.

Еще в 1882 году на страницах «Отечественных записок» автор ежемесячных очерков «По поводу внутренних вопросов» С. Н. Кривенко писал: «Что за труп такой, в самом деле, этот народ, над которым мы собрались, об интересах которого рассуждаем и из-за интересов которого спорим и чуть ли даже не деремса? Одни говорят: “про-

* А. Бушмин. Сказки Салтыкова-Щедрина, стр. 63.

** Эпический размах ощутим и в пейзаже «Христовой ночи»: «Но лес еще молчит, придавленный инеем, словно сказочный богатырь железною шапкою» (XVI, кн. 1, 206).

снись, очарованный богатырь!»), другие говорят: “спи, ангел мой прекрасный!”, третьи поясняют, что он хочет войны, что он идеалист и любит жертвовать собой (точно курить папироску), четвертые добавляют: “драть его надо!” и т. д. Не умер же в самом деле народ и во все не спит, а бодрствует, работает и не говорит только потому, что мы не даем ему говорить»*. Та позиция публициста «Отечественных записок», которая, в частности, стилистически выражена собирательным «мы», объединяющим, пусть и не без внутренней иронии, автора и его многочисленных оппонентов, сродни была и Салтыкову, особенно в 1860–1870-е годы (хотя и на несравненно более высоком и сложном художественно-публицистическом уровне).

В сказках Салтыков почти везде отступает от давно сложившегося в его творческой практике образа рассказчика, удобного и точного посредника между автором и читателями-«простецами». В салтыковских сказках повествование никому автором не передоверено. В сказках сатирик, как правило, говорит о «пустоплясах», но решительно исключает их из числа своих адресатов. В 1880-е годы «внутренний» читатель Салтыкова меняется, и один из несомненных показателей этой перемены — небывалая насыщенность художественной речи народно-поэтическими приметам.

Разумеется, можно говорить лишь об особом фольклорно-стилистическом ореоле салтыковских сказок, продолжающих постоянные темы и образы его сатирико-публицистических циклов. Обильно используя типично фольклорные элементы, Салтыков стремился овладеть вниманием новой массовой демократической аудитории, хорошо, не понаслышке знакомой с народной поэзией, постоянно с ней соприкасающейся**. «Сатира становилась острее и доступнее, когда слог и эмоциональная окраска ее комбинировались из обычных пословичных изречений о ежовых рукавицах или бедном Макаре, на которого все шишки валятся. Иронический, пародийный смысл той или иной социальной картины или политического понятия звучал отчетливее, когда вступал в дело сказочный Топтыгин, наделенный губернаторскими правами»***

* «Отечественные записки», 1882, № 3, стр. 145–146.

** Щедринские «Отечественные записки» обращали внимание на то, что с давних времен в России, «минуя всякие цензуры», существует «литература народная, создаваемая самим народом, в виде лубочных сказок и картин самого разнообразного содержания, начиная с религиозного и кончая сатирическим и скабрёзным» (А. Скабичевский. Очерки по истории русской цензуры, гл. LII–LV. «Отечественные записки», 1883, № 8, стр. 464).

*** Е. И. Покусаев. Щедрин и устное народное творчество, стр. 157.

Но несомненно и то, что с фольклором сказки Салтыкова связаны не только наличием в них определенных устно-поэтических элементов, деталей, образов, существенно влияющих на повествовательный слог. В щедринских сказках есть и нечто более принципиальное и важное, сближающее их с народной поэзией, есть истинно народное миропонимание. Оно выражается в самом пафосе сказок для народа, в авторских представлениях о добре и зле, о нищете и богатстве, о суде правом и неправом, о решительном преобладании враждебных народу сил и вместе с тем о неминуемом торжестве разума и справедливости. Пускай отовсюду изгнана совесть, пускай отворачиваются от нее и жалкий пропойца, и кабатчик, и квартальный надзиратель, и финансист — уже явилось в мир «маленькое дитя, а вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама» («Пропала совесть» — XVI, кн. 1, 23).

Здесь нет исконно фольклорных элементов, но здесь живет и торжествует самый дух народной философии, воплощающей идеи демократизма и неразлучной с подлинным поэтическим творчеством масс. И там, где нет в финалах салтыковских сказок оптимистических нот, где нет мажорного звучания, а преобладает драматическое и даже трагическое начало, оно никогда не оставляет ощущения безысходности, тупика, обезоруживающей горестной растерянности. Даже там, где зло явно и недвусмысленно одерживает верх над беззащитностью, робостью, страхом, прекрасодушием, пассивностью (ср. сказки «Самоотверженный заяц», «Добродетели и пороки», «Обманщик-газетчик и лежковерный читатель», «Карась-идеалист» и др.), автор вершит над ним суд, выносит суровый, обжалованью не подлежащий сатирический приговор, давая понять, что вместе со злом осуждает всех его и вольных и бессознательных потатчиков: «А газетчик-обманщик и сейчас жив. Четвертый каменный дом под крышу подводит и с утра до вечера об одном думает: чем ему напередки лежковерного читателя ловчее обманывать: обманом или истиною?» (XVI, кн. 1, 62). Салтыков не спешил изображать повергнутыми тех, кто сохранял командные высоты в жизни. Напротив, он всячески подчеркивал нелепый, бесчеловечный характер разрешения подавляющего большинства жизненных конфликтов. «Вся прошлая жизнь крестьянства научила его, — писал В. И. Ленин, — ненавидеть барина и чиновника, но не научила и не могла научить, где искать ответа на все эти вопросы»*.

* В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 211.

Щедринские сказки призваны были подсказать эти ответы, научить народного, демократического читателя разбираться в причинах жизненных неурядиц, житейских бед, общественной несправедливости.

Салтыков «не копировал фольклорные образцы, а свободно творил в духе их, не рабски следовал за ними, а творчески раскрывал и развивал их глубокое потенциальное значение, брал их у народа, чтобы вернуть народу же идейно и художественно обогащенными»*. Разговор с массой на языке близком и понятном ей не был для писателя неким идейно-художественным компромиссом. То было приспособление привычных и доступных народу средств поэтического выражения к просветительским целям сатирика.

Фольклор для Салтыкова был больше, чем один из многочисленных источников, питавших его творчество. Русский фольклор с его законами, своеобразием, с его выразительной меткостью и психологической зоркостью, с его тяготением к большим социальным обобщениям, с неиссякаемыми поисками правды и органическим неприятием лжи, фальши, лицемерия, доходившими до сатирических обличений, как бы живет в самой «мужичьей» натуре сатирика, в его манере выражаться, в стиле, в слогое, в истинно демократическом складе мышления, в эстетическом отношении к жизни.



* А. Бушмин. Сказки Салтыкова-Щедрина, стр. 153.